В. КАВЕРИН

ЛЕНИНГРАД

Август 1941

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ



ОГИЗ
МОЛОТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1942

В. КАВЕРИН

ЛЕНИНГРАД
Август 1941

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ

О Г И З
МОЛОТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 4 2



СОДЕРЖАНИЕ

Редактор **Н. РЫКОВА.**

Сдано в набор 18 марта 1942 года. Подписано к печати 16 апреля 1942 г. Формат $60 \times 92^{1}/_{32}$. Об'ем 2 печ. л., авт. 2,14 л., уч. изд. 2,74 л. Набрано в типографии издательства «Звезда», уг. ул. М. Ямской и 25 Октября, 27. Заказ № 1857. Отпечатано в типографии № 1, Молотовского областного управления издательств и полиграфии, гор. Молотов, ул. К. Маркса, 14. Заказ № 1546; изд. № 78. ЛБ16502. Тираж 20.000. Цена 95 коп.



Кнопка

Это была маленькая, толстая, румяная девушка, с короткими косичками, перевитыми лентами и торчавшими над открытыми смешными ушами. У нее было много прозвищ—Мячик, Чижик. Один боец, когда она еще работала в госпитале, прозвал ее «Пучок энергии». Это было очень меткое прозвище, потому что она действительно была похожа на пучок, состоящий из топота быстрых ног, скороговорки, румянца и косичек. Это была сама энергия, веселая, стремительная и действующая взрывами, как ракета.

Но из всех многочисленных прозвищ удержалось самое простое—Кнопка. Возможно, что она намекала на ее маленький нос, напоминавший кнопку. Но она не обижалась. Кнопка так Кнопка! Главное было — всюду поспеть и все сделать самой. И она поспевала всюду.

В этот день, самый горячий за всю ее 17-летнюю жизнь, она с утра успела поругаться с шофером, сменить повязки раненым бойцам, лежавшим в медсанбате, накормить их, с'ездить с письмами на поч-

товую полевую станцию и сделать еще тысячу дел, перечислять которые было бы слишком долго.

Теперь нужно было везти раненых в тыл, и она принялась помогать шоферу, который, ворча что-то себе под нос, вот уже целый час возился с проколотой шиной.

Раненых она уже знала по именам, а кого не знала, того называла: «Голубушка». «Ну, голубушка, теперь вот сюда,—говорила она командиру, который, делая над собой мучительное усилие, шел, опираясь на ее плечо, к санитарной машине.—Ну-ка, еще раз. Умница! Вот и все».

О том, что дорога простреливается, она сказала, когда все уже были устроены, и осталось только принести в машину снятое с бойцов оружие.

— Вот что, товарищи,—сказала она быстро,—мы поедем на полном газу, понятно? Дорога простреливается, понятно? Так что нужно принять во внимание свои головы, чтобы при подбрасывании не разбить... Понятно?

Все было понятно, и никто не удивился, когда машина, слегка подавшись назад, вдруг рванулась и с места, во всю прыть помчалась по изрытой танками дороге.

— Держитесь! Раз!—говорила Кнопка, когда, ныряя в рытвину, машина тяжело кряхтела и начинала, как лошадь, лягать задними колесами. — Есть! Поехали дальше!

Все ближе слышались разрывы снарядов. Черные столбы земли, перемешанной с дымом, вдруг вставали

среди дороги, и в одном из таких столбов скрылась и взлетела на воздух сперва телега с фуражом, потом мотоциклист, почему-то стоявший недалеко от шоссейной сторожки, и потом и самая сторожка, рассыпавшаяся дождем досок, стропил и камня.

— Придется обождать,—обернувшись, крикнул шофер. — Эге! Кнопка!

— Давай дальше, проскочим!

Но проскочить было невозможно. Шофер свернул и, проехав вдоль обочины по полю, поставил машину среди редкого кустарника, которым некогда была обсажена дорога.

Лучшего прикрытия не было. Но и это было не прикрытие. Во всяком случае оставлять раненых в машине, представлявшей собой превосходную цель, Кнопка не решалась. Называя их всех без разбора голубушками и умницами, она вытащила бойцов одного за другим и устроила в канаве метров за 25 от машины.

Был последний жаркий августовский день. Утро прошло. Солнце стояло в зените. Земля, перегоревшая за жаркое лето, была суха и над нею неподвижно стоял душный колеблющийся воздух. Вокруг— ни тени. Разве что под машиной, но это была такая тень, что уже и шофер, заглушив мотор, присоединился к бойцам. Очень хотелось пить, и первый сказал об этом маленький лейтенант с перевязанной головой, который всю дорогу подбадривал других раненых, а теперь, беспомощно раскинувшись и тяжело дыша, лежал на дне канавы.

— Нет ли воды, сестрица?—просил он. И, точно сговорившись, все раненые стали жаловаться на сильную жажду.

Воды не было. Метрах в ста от разбитой шоссейной сторожки виднелся колодезный сруб. Но была ли еще там вода—неизвестно. Если и была,—как добраться до нее через поле, на котором ежеминутно рвутся снаряды?

— Где ведро?—спросила Кнопка у шофера. Он посмотрел на нее и молча покачал головой.

— В машине осталось? Да что же ты молчишь? В машине?

— Ну, в машине,—нехотя пробормотал шофер.

— Ты за ними присмотришь, ладно?

И прежде, чем шофер успел опомниться, она выскочила из канавы и ползком стала пробираться к машине.

Это было еще полбеды—доползти до машины и разыскать полотняное ведро в ящике, полном всякой рухляди, которую шофер зачем-то возил с собой. Она достала ведро и, сложив его как блин, засунула за пояс. Главное было впереди—добраться до шоссейной сторожки, а самое главное—еще впереди: от сторожки, уже не прячась в канаву, дойти до колодца.

Впрочем, первое главное оказалось не таким уже трудным. Канава была глубокая, а Кнопка—маленькая. Так что, если бы время от времени из непонятного ей самой любопытства она не поднимала свою голову, украшенную косичками, торчавшими в разные стороны над ушами,—эта часть пути казалась бы ей

самой обыкновенной прогулкой. Правда, прогуливаясь, она прежде не ползала на животе и не подтягивалась на руках, которые теперь быстро уставали. Но тогда было одно, а теперь — другое.

Вот и сторожка, то-есть то, что от нее осталось. За нею начиналось второе главное,—немецкие орудия облюбовали именно это место, на котором ежеминутно вставала и далеко разлеталась земля.

До сих пор Кнопка не думала, есть ли в колодце вода. Эта мысль только мелькнула и пропала, еще когда она разглядывала сруб издалека. Но теперь она снова подумала: а вдруг нет? В первый раз ей стало действительно страшно. Вокруг был такой ад, такой отвратительный вой свистящего и рвущегося воздуха стоял над ее головою, так трудно было дышать, так устали руки, так скрипел на зубах песок,—и все это, быть может, напрасно? Но она продолжала ползти.

Сруб стоял на огороде, а огород был отделен изгородью, хотя невысокой и полуразбитой, но которую все же нужно было обойти, чтобы добраться до сруба.

Легко сказать: обойти! Это значило, что по крайней мере метров тридцать нужно было ползти под огнем, причем пятнадцать обратных—по совершенно открытому месту.

Руки очень ныли, спину ломило, и Кнопка, прижавшись лицом к земле, и стараясь поровнее дышать, решила, что не поползет. Ведро было на длинной веревке, она перебросила его через изгородь—авось угодит в колодец.

Четыре раза она перебрасывала ведро, прежде чем попасть в колодец. Наконец удалось. Но оно упало бесшумно и Кнопка поняла, что колодец пуст. ,

С минуту она лежала неподвижна. Не то, что ей захотелось заплакать, но в горле защипало и она должна была несколько раз вздохнуть, чтобы справиться с сердцем.

— Так нет же, есть там вода! Вдруг сказала она про себя. — Не может быть! Есть, да глубоко.

Она сняла пояс и привязала его к веревке. Ведро чуть слышно шлепнуло—или ей это показалось? Приблизившись к изгороди вплотную и приподнявшись на локте, она ждала несколько секунд. Веревка все натягивалась, она слегка подергала ее и поняла, что ведро наполнилось водой.

— Ну-ка, голубушка, — сказала она не то ему, не то самой себе, — и стала осторожно вытягивать ведро из колодца. Она вытащила его — мокрое, расправившееся, полное воды. И, вскочив, быстро перехватила рукою.

Прежде всего нужно было напиться. Воды было много, хватит на всех. Может быть умыться? Но умываться она не решалась. Сейчас это много, но много ли она донесет?

И тут она впервые задумалась над тем, как вернуться обратно с ведром, полным воды. Эх, была-не была! И, подхватив, со всех ног она побежала к сторожке. Снаряд разорвался где-то близко, земля осыпала ее с головы до ног. Она только присела на мгновение, отряхнулась и побежала дальше.

Запыхавшись, приложив руку к сердцу, она остановилась у сторожки и взглянула в ведро, не очень ли много расплескалось? Не очень. И, вообще, гораздо лучше бежать, чем ползти: совсем не страшно и гораздо ближе. Конечно, не ближе, но почему-то всетаки ближе.

Теперь все было в порядке: от сторожки до машины рукой подать и можно пройти по канаве.

— Подожду, как станет потише,—сказала она себе. — И айда.

И вдруг она услышала чей-то голос. Сперва она подумала, что ослышалась, потому что этот слабый голос назвал ее так, как называл ее только один человек во всем мире.

— А, Пучок энергии! Здорово!

— Что? — невольно откликнулась она — и в ту же минуту увидела руку, торчащую из-под разваленных досок.

Это был тот самый знакомый боец, который только один во всем госпитале не соглашался на «Кнопку». Последний раз она видела его в Ленинграде, когда он выписывался из госпиталя и снова отправлялся на фронт.

— Сейчас, голубушка!—говорила Кнопка, осторожно снимая с него разбитые доски,—подождите, милый.

Нужно было, конечно, прежде всего разрезать и снять с него гимнастерку. Но нужно было многое, а у нее кроме санитарного пакета ничего не было с собою и вообще невозможно было перевязывать раненого под таким обстрелом...

Она вспомнила о воде лишь когда, заставив бойца обнять себя руками за шею, она проползла вместе с ним метров двадцать и была уже рядом с санитарной машиной.

— Ладно, скоро вернусь,—быстро пробормотала она. — Жаль только, что согреется. Эх, не прикрыла!

Шофер, заметив, что она возвращается не одна, выскочил из канавы и смешно пополз к ней, как обезьяна — на четвереньках. Вдвоем они доставили раненого в укрытие, осторожно сняли с него гимнастерку и, быстро приговаривая, Кнопка стала останавливать кровь и перевязывать раны. Он не очень пострадал. Во всяком случае Кнопка сказала, что через две недели он будет совершенно здоров.

Никто больше не просит пить. Никто даже не спросил Кнопку, была ли в колодце вода. Жара стала еще удушливее, и маленький лейтенант лежал закинув голову и полуоткрыв пересохшие губы. Но он только взглянул на Кнопку и не сказал ни слова.

— Ты что, Кнопка, — спросил шофер, заметив, что она время от времени поглядывает на сторожку.

— Ничего, — ответила Кнопка. — Кажется, потише становится, а?

Становилось как раз не потише, а погромче, и шофер только сомнительно покачал головой.

Нет, потише, — упрямо пробормотала Кнопка, — и вдруг, выскочив из канавы, опрометью побежала к сторожке.

Через несколько минут она вернулась, таща ведро с водой. Правда, назад она летела так быстро, что

с добрых полведра выплескалось ей на ноги, но еще оставалось много великолепной, не успевшей согреться, вкусной воды.

— Голубушки, принесла! Честное слово, принесла,— закричала Кнопка, подтанцовывая и сама глядя на воду с искренним удивлением,—вот так штука! Принесла!

Через полчаса, когда обстрел прекратился и раненые были уложены в карету, Кнопка с дороги в последний раз взглянула на этот мертвый, изрытый снарядами кусок земли между колодцем и канавой. Песок вдруг скрипнул у нее на губах, напомнив о том, как она ползла, подтягиваясь на руках, и как справа и слева рвались снаряды.

— Должно быть, я храбрая, что ли? — неясно подумала она и поправила развязавшуюся ленточку на тугой короткой косичке.

Впрочем, спустя несколько минут она уже не думала об этом. Машина попрежнему ныряла по рытвинам и нужно было следить, чтобы кто-нибудь из раненых не ударился головой о раму.





Почти невозможно было представить себе, что лишь неделю тому назад он защищал диссертацию на тему «Древнейшие сказания германского народа». Аудитория была полна, и старый Кирпичников, открывая заседание, сказал длинную изящную фразу о своих учениках, сменивших перо на винтовку и с одинаковым успехом сражающихся на фронтах войны и науки.

Аня тоже была на защите, хотя она сидела как на иголках, потому что скоро нужно было бежать кормить это удивительное некрасивое сморщенное существо, которое кажется только вчера появилось у них в комнате, а уж заставило всех думать о нем, смотреть на него и бессмысленно улыбаться. Он делал ей знаки, что пора, но она кивала, смеялась и все сидела раскрасневшаяся, счастливая.

Несколько раз во время прений ему приходила в голову досадная мысль, что его так не расхваливали бы, если бы он не приехал с фронта. Но ведь работа в самом деле была, кажется, недурна—все-

таки он первый установил связь готской саги об Эрманарихе с легендой о Нибелунгах. Как бы то ни было, он был единогласно утвержден кандидатом наук, и Кирпичников в заключительном слове сказал, что в сущности это докторская диссертация, нехватает только более подробного анализа скандинавских источников, в частности песен Эдды.

После защиты он растерялся от поздравлений и позвал к себе слишком много гостей. Негде было даже усадить их в маленькой комнате, полной книг и пеленок. Гости рассматривали сына, и Мишка Арбузов сказал, что склонность отца к древним германским сказаниям, очевидно, отразилась на сыне — потому что сын похож на тевтона.

Все это было ровно неделю тому назад. Да полно, было ли это? Мертвое, изрытое снарядами поле лежало перед ним — земля, на которой был посеян и взошел хлеб, сгоревший и развеявшийся по ветру вместе с пороховым дымом, земля, на которой было сделано все, чтобы человек не мог существовать.

По одну сторону этого отрезка земли лежали, прячась за глинистыми буграми, немецкие солдаты, пришедшую в чужую далекую страну по приказу своих командиров, уничтожающие, грабящие, сжигающие все на своем пути, живущие лишь сегодняшним днем, не желающие смотреть в глаза будущему, которое грозило им гибелью и позором. Их было много — не меньше взвода. Напротив их, по эту сторону мертвого ржаного поля, лежал только он

один, кандидат филологических наук, младший лейтенант Лев Никольский.

Он был окружен. и по всем правилам той войны, которую немцы вот уже более двух лет вели на континенте Европы, должен был положить оружие и сдаться в плен победителям. Но он не считал себя побежденным. Пулемет еще работал, а если бы он замолчал, в ход пошли бы винтовки и гранаты. Кроме того, он был не один. Двенадцать мертвых товарищей, еще вчера вместе с ним защищавших этот голый кусок земли с одинокой березой, лежали здесь и там, вдоль траншей. Тринадцатый был еще жив.

Это был разведчик Петя Данилов — любимец всего полка талантливый мальчик, писавший стихи и читавший их вслух в самые горячие минуты боя.

Теперь он лежал раненый в грудь навылет и смотрел в небо осеннее, но ясное, с редкими освещенными снизу облаками. Береза вздрагивала от выстрелов и желтые листья время от времени падали на раненого. Один лист упал на лицо, но Петя не смахнул его, не пошевелился.

— Умер, — оглянувшись и увидев это бледное спокойное лицо, на котором лежал желтый лист, подумал Никольский.

В одну из редких пауз тишины он подполз к Пете и, смахнув лист, взял Петю за руку.

— Ну, как ты, а?

— Ничего, — чуть слышно ответил Петя.—Дышать трудно. Послушай...

Он помолчал, потом стал с трудом вынимать из кармана гимнастерки бумаги.

— Тут мои стихи остались. Если уйдешь, пошли их вместе с письмом. — Ладно?

Накануне он долго писал это письмо, и Никольский знал, что он пишет девушке, которая часто приходила к нему, еще когда часть формировалась в Ленинграде.

— Ладно, пошлю. Пить хочешь?

Он поставил подле Пети кружку с водой и вернулся к пулемету.

Должно быть, не больше пяти минут он провел с Петей, а уже немцы, воспользовавшись тем, что пулемет замолчал, немного придвинулись к траншеям. Никольский дал очередь — другую. Они залегли.

Плохо было, что слева метрах в двухстах от березы стояло орудие. Правда, оно стреляло не по траншее, а в глубину, туда, где на горизонте были видны темные, еще дымящиеся развалины горевшей деревни. Но в любую минуту оно могло ударить и по траншее, которую защищала часть, состоящая из двенадцати убитых, одного смертельно раненого и одного живого. «Эх, подобраться бы к этому орудию!» И тропка была — вон там, где за выходами бурой взрытой земли начиналось болотце с высокой травой. Но нечего было и думать. Он понимал, что немцы захватят траншею, едва только замолчит пулемет.

Но когда начало темнеть, он невольно вернулся к этой мысли. Солнце заходило, и, обер-

нувшись, он увидел, как под легким ветром клонилась трава на болотце.

Теперь тропка была почти и не видна.

Ему показалось, что Петя зовет его. он оглянулся и ответил шопотом: «Что?» Петя молчал. Но прошло несколько минут и слабый голос снова произнес что-то. Никольский прислушался и в первый раз его сердце дрогнуло, и он крепко сжал зубы, глаза, все лицо. чтобы справиться с невольным волнением. Петя читал стихи. Он бредил, но голос был ясный, звонкий.

Есть улица в нашей столице,
Есть домик и в домике том
Ты пятую ночь в огневице
Лежишь на одре роковом,—

читал он, закрыв глаза, и каждое слово доносилось отчетливо, плавно.

— Петя, Петя, — взяв его за руку, тихо сказал Никольский.

Петя открыл глаза. Глаза были туманные, и одно мгновение он смотрел на Никольского, не узнавая. Потом очнулся.

— Что?—чуть слышно спросил он.

— Петенька, голубчик... Ты меня слышишь? Пулемет нельзя оставлять, а то бы я к ним с тылу зашел. К тому орудию, понимаешь? А так все равно конец. Ты не можешь?..

Он не окончил. Такой бессмысленной вдруг показалась ему эта мысль.

Петя приподнялся на локте. Он хотел что-то сказать, но промолчал и, часто, трудно дыша, стал садиться. Волосы упали на лоб. Никольский откинул их и, держа его лицо в руках, говорил что-то, не слыша себя, беспорядочно и быстро.

— Петенька, — говорил он, — милый...

— Дай-ка воды, — отчетливо сказал Петя.

У него было потемневшее страшное лицо, когда, сунув руку в кружку с водой, он начал водить по лицу, по глазам. Потом вылил воду на голову, тяжело опершись на Никольского, пополз к пулемету.

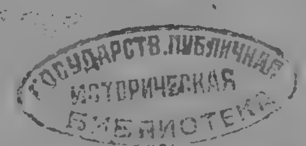
— Есть. Иди, — сказал он, схватившись за ручки пулемета, — а я... Да иди же, — нетерпеливо повторил он, видя, что Никольский медлит, и дал очередь.

— Видишь? Все в порядке. Я еще покажу им...

Пробираясь по траншее к болотцу, Никольский услышал Петин голос между двумя пулемтными очередями:

Не снятся ль тебе наши встречи
На улице в жуткий мороз,
Иль наши любовные речи
И ласки и ласки до слез?

Должно быть Петя переоценил свои силы, потому что пулемет замолчал, едва только Никольский добрался до выхода из траншеи. Пулемет замолчал и, не теряя ни минуты, немцы



пошли в атаку. Притаившись за большими комьями мокрой земли, Никольский видел, как, стреляя из автоматов, они набежали на траншею и, мешая друг другу, стали прыгать в нее... Торопились.

Он видел, как, подброшенное штыками, взлетело вверх одно мертвое тело. Потом другое. Не остерегаясь больше, он поднялся и, сжав зубы, смотрел, как немцы кололи убитых, стреляли в них. И, наконец... Сердце у него замерло. Высокий, худой солдат наклонился над Петей, который, уткнувшись в землю лицом, лежал у пулемета. Он долго что-то делал над ним, потом выпрямился. Нож блеснул раз, другой, третий. Он колол его ножом. Лицо уже было залито кровью, а немец все поднимал свой нож — высоко, неторопливо, как будто целясь. В глаза? В сердце?

Никольский невольно вскрикнул и прикусил губу. Все стало для него другим в эту минуту.

— Ах, вы так? Вот что... Раненого? Вы так?

Он не спал трое суток и почти ничего не ел. Еще полчаса назад он лишь мучительным усилием воли заставлял себя стрелять, следить за своими движениями, думать. Несколько раз он ловил себя на сонном чувстве полного безразличия ко всему, что происходит вокруг.

Теперь все переменилось. Он снова был свеж и бодр. Время, тянувшееся бесконечно долго, вдруг разделилось на самые короткие секунды, и

сердце билось в такт этим секундам, отчетливо и мерно.

Втянув голову в плечи, он мягко опустился в траву и бесшумно пополз, скорее угадывая, чем видя чуть примятую пересекавшую болотце тропинку. Редкие выстрелы автоматов еще слышались в траншее — на всякий случай немцы палили в мертвецов. Но для него во всем мире наступила одна огромная тишина, и в этой тишине оглушительно громко билось его сердце.

Он подобрался к орудию сзади и некоторое время лежал, слушая, как немцы разговаривали резкими уверенными голосами. Он ждал, когда весь расчет соберется подле орудия. Минута, другая... Он приподнялся и бросил одну гранату, потом сразу вторую.

Все, что произошло потом, было похоже на сон. И это был самый лучший и радостный сон в его жизни.

Он убивал с восторгом, с радостью, с чувством полного, еще никогда неиспытанного счастья. Немцы были захвачены врасплох, и первым же снарядом из уже заряженного орудия он убил сразу человек двадцать. Петино лицо, бледное, с прядью белокурых волос, упавших на лоб, стояло перед ним, и не было ничего выше, благороднее во все времена, во всем мире, как убивать и убивать их и снова убивать.

За стихи, которые Петя читал между пулеметными очередями, за дымящиеся развалины сож-

женной деревни, за ограбленных женщин и детей, бродящих по лесам без крова и пищи, за горе каждой семьи, за разлуку с близкими, за Аню с маленьким сыном, которых он больше никогда не увидит...

Из газет: «Младший лейтенант Лев Никольский на одном из участков Ленинградского фронта, будучи окружен фашистами, в течение суток один держал укрепленный рубеж. Оставив у пулемета раненого товарища, Никольский подобрался с тылу к небольшому немецкому орудию и, овладев им, прямой наводкой уничтожил до 50 немцев. Рубеж был удержан до прихода наших подкреплений. Постановлением правительства лейтенант Никольский награжден Орденом Красного Знамени».





Лет двадцати четырех, а на вид двадцати, с розовым свежим лицом, немного толстый и, должно быть, поэтому особенно живой и подвижной, он был так полон жизни, что вы начинали чувствовать это с первой минуты знакомства. Можно сказать, что он был совершенно счастлив. Но была еще одна, особенная причина его полного счастья: не прошло и полугода, как он женился. Он много рассказывал о своей жене и при этом безбожно хвалил ее, что было, конечно, вполне простительно. По его словам, она была умная, красивая и вообще замечательная во всех отношениях. И он показывал ее карточку и краснел, как мальчик.

Теперь он стоял рядом со мной на баке и называл места, мимо которых мы проходили. Он родился и вырос в этих местах и недавно, перед самой войной, ездил к своим старикам в К., что сравнительно недалеко от границы. Целый месяц он с молодой женой провел в К., и, должно быть, хорош же был этот месяц в колхозных садах, весной, на берегу моря!

Даже в жаре, когда и цикады переставали звенеть, Апостоли рассказывал с восторгом. А ночные купанья в такой тишине, что сам невольно начинаешь говорить шопотом... Потом он уехал, а жена осталась гостить у стариков. Забавно было бы на обратном пути нагрянуть к ней в гости. Впрочем, завтра она уезжает в Сухуми. И старики уезжают,— все-таки К. в сорока километрах от границы.

Начало темнеть, и полная луна поднялась и неторопливо устроила весь мир по-своему: на море вдоль тени, лежащей по горизонту, она поместила великолепную золотую полосу, небо сделала темнее и глубже, а берег — таинственнее. Это был еще наш берег. Чайки, стремительно падавшие вниз и срывавшие с волн белые клочья пены, — это были еще наши чайки.

В полной тишине, нарушаемой лишь равномерным шумом турбины, вдруг заговорило радио, то-есть заговорил, судя по голосу, наш политрук Толубеев: капитан 3-го ранга приказывал командному составу корабля немедленно явиться в его каюту.

Апостоли ушел. Через четверть часа он вернулся и сказал, что в кают-компании в 0 часов 30 минут назначено партийное собрание. Мне показалось, что он чем-то взволнован. Я не курю, — он это прекрасно знал,—и вдруг попросил у меня папиросу. Я сказал, что он написал чудную статью для «Боевого листка», и он рассеянно выслушал меня и спросил: «Какую статью?».

После собрания мы разошлись, чтобы раз'яснить краснофлотцам задачу похода. Она была ясна: согласно приказу командования мы рано утром шестого августа должны были подойти к энскому берегу и принять участие в операции сухопутных частей.

...Холмистый берег открылся перед нами, красиво расчерченный правильными линиями виноградников, табака и леванды.

Кое-где в редких купах деревьев были разбросаны домики, и только один из них стоял отдельно от других на высоком холме, полускрытый от нас другим холмом, напоминавшим медведя. Это был белый домик с красной черепичной крышей. Я заметил, что Апостоли долго смотрел на него в бинокль, а когда он опустил бинокль, у него было усталое и расстроенное лицо. Кажется, он хотел что-то сказать, но промолчал. Потом он стал смотреть налево — туда, где за каменным забором, тянувшимся вдоль верхней дороги, залегли румыны.

Берег лежал перед нами, как открытая книга, и мы видели с моря все, в том числе и то, чего не могли видеть ни румыны, ни немцы. Мы видели, как под прикрытием жестокого пулеметного огня наши саперы поспешно чинили мост, должно быть, взорванный при отступлении, и как в глубине ущелья, над которым еще стояла нежная утренняя дымка, маленькие фигурки бегали, ложась и прячась за камни.

Это тоже были наши, обходившие румынские позиции слева, и румыны, без сомнения, не видели их, потому что били совсем в другую сторону — туда, где стягивались, готовясь переходить через восстановленный мост, наши части. Без сомнения, это и был главный план: подняться по крутому тупику ущелья и неожиданно ударить на румын с левого фланга...

Ровно в шесть мы начали обстрел. С полчаса мы ходили вдоль берега, рассчитывая, что румыны первые откроют огонь и тем обнаружат свои батареи. Но они молчали. Тогда заговорили мы. Апостоли скомандовал:

— Пеленг 130. Прицел 82.

И первый залп наших пушек ударил по врагам.

Наши в ущелье упрямо шли вперед — и даже отсюда, за милю видно было, как это трудно! Таща на руках пулеметы почти по отвесной стене, они поднимались все выше — туда, откуда падал маленький белый водопад, превращаясь внизу в блестящую на солнце горную речку. Это было здорово, что румыны не видели их! Впрочем, они не могли ожидать, что наши полезут на эту стену, да еще потащат с собой пулеметы.

И вдруг что-то произошло. Заработали румынские минометы, и первые же мины стали рваться в ущелье. Недолет, перелет, опять недолет! Наконец, мины ударили прямо в тупик и, должно быть, наделали немало беды, потому что большие осколки камней высоко полетели в воздух.

Я слышал, как кто-то на мостике сказал с досадой:

— Заметили!

И это слово мигом обошло весь корабль.

Да, заметили. Откуда-то корректировали стрельбу. Откуда?

Конечно, с крыши домика, который стоял так удобно для румын и так неудобно для наших! Только с крыши домика можно было видеть, что делается в ущелье — и то не на дне, а приблизительно с трех четвертей под'ема.

Наш командир подозвал Апостоли, и мы все внизу, у орудий, сразу поняли, что он сказал ему показав на домик.

Апостоли вернулся. Твердо ступая, он подошел к нам и отдал команду:

— По дому на холме. Фугасными. Орудия зарядить.

Секунда, вторая и третья.

— Залп!

Первые снаряды легли немного правее, но Апостоли исправил прицел и со второго залпа мы попали прямо в красную черепичную крышу. Все было кончено, но для верности Апостоли скомандовал еще один залп, и столб черного пламени поднялся над домом...

Я посмотрел на Апостоли: у него было бледное, нахмуренное лицо, лицо человека, который лишь мучительными усилиями воли заставляет себя двигаться, говорить и думать. Прежний румяный мальчик исчез: перед нами был человек, перенесший все — самые смертные муки, самые горькие сомне-

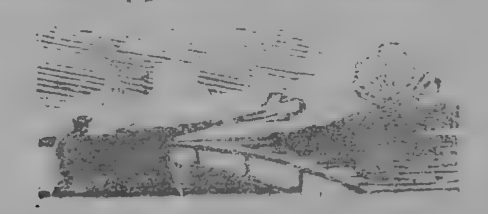
ния. Как будто десять лет прошло за немногие минуты боя — десять лет, полных труда, забот и страданий...

Это был дом, в котором он родился и вырос, в котором еще так недавно он был свободен и счастлив. Он не знал, успели ли покинуть этот дом его близкие — самые близкие люди на свете. Но высокое чувство владело им в эти минуты, чувство, которое поднимает душу и делает человека способным на подвиг. Это чувство — сознание воинского долга — решило в нем мгновенную трагическую борьбу и сделало его героем.

К полудню румыны были выбиты, и наши заняли верхнюю дорогу. Разумеется, от домика с черепичной крышей ничего не осталось. Но обитатели его оказались живы. С началом боя они тайком от румын выбрались через окно и спустились вниз, к морю.

На другой день мы принимали стариков Апостоли на корабле. Это были прекрасные старики: папа, похожий на матроса времен севастопольской обороны, с густыми седыми усами и подусниками и полная добродушная мама.

Жена тоже была симпатичная. Кстати, она успела за время своего плена узнать много интересного, и вечером мы слушали ее доклад о моральном состоянии румынской армии.





Это было превосходное место — мельница на маленькой речке, в пяти-шести километрах отсюда впадавшей в Балтийское море. Она была видна с чердака — в просвете между рядами сосен, красных в этот час от заходящего солнца.

Такая тишина была вокруг, такая величественная картина открывалась в этом широком, свободном просвете, что трудно, почти невозможно было представить себе, что здесь идет беспощадная непримиримая война. И что четверо юношей в краснофлотской форме — это форпост одной из частей морской пехоты. И что этот форпост, неслышный и невидный, на дереве сливающийся с листвой, прячущийся в оврагах и ямах, без сна и отдыха, с бесконечным терпением наблюдает за всем, что делается на земле и на небе.

В просторном помещении мельницы было полутемно и прохладно. Еще лежали в углу мешки с мукой. Повсюду во всех углах и щелях еще была тонкая мучная пыль, так что все четверо скоро

были выбелены наславу. Они осмотрели мельницу и заняли свои посты. Саша Пегов остался на чердаке. Маленький, неуклюжий Зайцов занял пост над речкой справа, аккуратный Веретьев скрылся в лесу, связист Курочкин возился внизу у плотины, маскируясь и налаживая связь.

И вот начались долгие часы ожидания. Медленно приближалась ночь, тени становились длиннее. Уже над морем появилась чуть прозрачная белая муть и берега потеряли прежние, строгие очертания. Дорога, за которой наблюдал Саша Пегов из окна чердака, потемнела и с прежней отчетливостью была еще видна только на поворотах. Но всетаки она была видна, хотя уж первый час был на исходе. Значит, она будет видна всю ночь, значит, здесь ночи лишь немного темнее, чем в Ленинграде.

В Ленинграде он окончил школу и пошел на фронт. В Ленинграде же остались его старики. Ему было только двадцать лет, и нет ничего удивительного в том, что он не особенно задумывался над тем, любит ли он свой город. Конечно, он любил его, потому что это был его родной город, в котором он родился и вырос. Но он не знал, как он любил его!

Накануне от'езда его на несколько часов отпустили домой. Он простился со стариками, а потом на набережной встретился со знакомой девушкой, и они прошлись вдоль Летнего сада. Над Выборгской стороной небо было темносинее, светло-

синее, желтое, оранжевое, всех цветов, какие только есть на свете. Где-то там было солнце. А над Петропавловской крепостью все было совершенно другим — неподвижным и туманно - серым, настолько другим, что нельзя было поверить, что это одно и то же небо. И они сперва долго смотрели на крепость и ее небо, а потом поворачивались к Выборгской стороне и ее небу, и это был как бы мгновенный переезд из одной страны в другую — из неподвижной и серой в прекрасную, живую, с быстро меняющимися цветами.

— Вот, Саша, что ты будешь защищать, — сказала девушка. — Понятно?

Он засмеялся и сказал:

— Понятно.

И сейчас, в этот ночной час, это было понятно, как никогда. Где-то, далеко на востоке, на берегу моря лежал огромный, близкий сердцу, великолепный город. Он спит сейчас, выставив сторожевые посты у каждых ворот и на каждой крыше. Аэростаты воздушного заграждения висят над ним, похожие на больших серебряных рыб с толстыми ушами. На Петроградской спит мать или не спит, а думает о нем: «Где мой Саша?»

Ему показалось, что легкое облачко пыли поднялось над взгорьем — там, где дорога круто шла вверх и вдруг обрывалась. Но облачко растаяло. Тишина, тишина!

И вдруг в этой тишине, нарушаемой иногда лишь сонным всплеском рыбы, раздался очень далекий,

металлический звук. Еще ничего не было видно, только снова появилось над взгорьем облачко пыли, а этот металлический, скрежещущий звук все приближался.

Зайцев скатился с берега и мигом перемахнул через плотину.

— Танки, — не переводя дыхания, сказал он.

— Да, вижу.

Это было очень неожиданно — танки здесь, так близко от моря. Воздушный десант? Так или иначе, это были танки, должно быть, штук пять.

Можно было не спрашивать, знает ли уже об этом связист и сообщил ли он командиру части. Связист сообщил. Через две минуты после того, как Пегов увидел на дороге облачко пыли, в журнале донесений Энской части появилась запись: «Замечено пять немецких танков. Идут на нас».

То, ради чего четверо юношей в краснофлотской форме лежали всю ночь, наблюдая за всем, что делалось на земле и на небе, было выполнено. Теперь они могли уйти к своим, если хватит времени, или спрятаться, то-есть пропустить танки и начать действия в тылу. Они не сделали ни того, ни другого. Оружия было не так много: четыре винтовки, несколько связок гранат. Зато дорога с крутого под'ема скатывалась вниз и с полкилометра шла вдоль берега речки, по гати. Потом начинался мост, а за ним плотина — все узкие места, удобные для защиты.

Теперь они все четверо собрались на чердаке и молча стояли, слушая, как нарастает, приближаясь, равномерный грохот колонны. Пегов посмотрел на товарищей: Веретьев. подтянутый и, как всегда, особенно тщательно одетый, спокойно ждал приказаний. Может быть он был немного бледнее, чем обычно. Маленький Зайцев деловито устраивался у окна — у него был такой вид, как будто он всю жизнь только и делал, что с винтовкой в руках сражался против танков. Только связист немного растерялся, зачем-то притащил наверх аппарат, надел его на плечо, опять снял...

— Ну, товарищи,—волнуясь и стараясь скрыть, что он волнуется, — сказал Пегов, — значит, мы их сейчас встретим. Ты, Зайцев, оставайся здесь, где лежишь. Ты, Веретьев, спускайся вниз. А Курочкин с той стороны спрячется за плотину. Ты, Курочкин, возьми связку — бросишь первый. А мы с Зайцевым будем действовать сверху.

Грохот все приближался, и вот первые танки показались на взгорье. Они шли на хорошей скорости: только что были далеко, а вот уже ближе и ближе. Солнце еще вставало, и в бледном утреннем свете они шли и шли — угрюмые, горбатые, похожие на бронтозавров машины.

Кажется, не было на свете силы, которая могла бы остановить это грозное, решительное движение... Они шли, как победители, прошедшие полмира. За ними были разрушенные города, тысячи

трупов, склоненные знамена. За ними была ограбленная и сожженная Европа. Перед ними в маленькой деревянной мельнице было четверо юношей в краснофлотской форме.

Пегов немного боялся, что связист рано бросит гранаты. Пегов давно присматривался к нему и решил, что он нервный. Головной танк был теперь совсем близко, и если Курочкин подорвет его до в'езда на мост, — ничего не выйдет, потому что задние обойдут и станут бить с тыла. Нужно было послать Зайцова, а Зайцова—нельзя, потому что он прекрасно стреляет. Веретьева... Или итти самому... Секунда, другая, третья. Танк с разбега влетел на мост. Взрыв! Связист бросил гранаты.

Очевидно, это было сделано неплохо, потому что танк остановился и круто пошел направо. Направо была река, он сломал перила и, как подбитое чудовище, повис над водой. Стрелок открыл люк. Пегов немедленно бросил в люк гранату.

Теперь нужно было приниматься за второй танк, что было гораздо сложнее, потому что он остановился на самом в'езде, как будто задумался— что теперь делать. Впрочем, особенно долго думать ему не пришлось. Вторая связка полетела в него из-за угла—это сделал Веретьев. Танк рванулся вперед, потом назад. Люди выскочили из него и маленький Зайцев, не переводя дыхание, пятью выстрелами убил их из винтовки.

Он сам был убит ровно через минуту. Снарядом снесло крышу мельницы, и осколок попал ему в грудь.

Вдруг наступила тишина. Пегов, отброшенный в сторону, поднялся и медленно встал на колени. На чердаке стояли весы. Падая, он ударился о них, и теперь, выбираясь из сломанных досок, чувствовал сильную боль в плече—наверное вывихнул. Но об этом некогда было думать.

Он взял у Зайцева винтовку, зарядил ее и спустился вниз. Веретьев стоял на ларе у маленького окна. Очевидно, то, что он видел, было очень интересно, потому что он смотрел, не отрываясь, и только молча показал Пегову, чтобы он встал подле него.

Прямо под окном был привод от жернова и станок, на котором делали дранку, а дальше штабеля напиленной и приготовленной для дранья осины. Между этими штабелями полз человек. В другом просвете мелькнул еще один. Третий, четвертый...

— Хотят окружить,—шопотом сказал Веретьев.

— Да. Где Курочкин?

— Не знаю.

От штабелей до станка было не больше пяти метров, то-есть расстояние, которое можно перемахнуть двумя шагами. Станут ли они перебегать по одному или бросятся в атаку? Конечно, да. Сейчас выйдут и бросятся в атаку.

Они не бросились в атаку. По одному они стали перебегать и прятаться под станком. Веретьев хотел стрелять, но Пегов остановил его: лучше было встретить их в дверях, а когда бросятся назад, — перебить между станком и штабелями.

Через две минуты они появились в дверях: сперва один робко просунул голову, огляделся и, обернувшись назад, что-то сказал по-немецки. За ним вошел и остановился на пороге другой. Веретьев выстрелил, и первый упал. Второй бросился назад. Те, что сидели под станком, побежали за ним, и Пегов с Веретьевым убили их из винтовок.

Снова наступила тишина, и в этой тишине Пегов вдруг ясно услышал биение своего сердца. Он почти не волновался, только два или три раза спросил: «Где Курочкин? — совсем забыв, что уже спрашивал об этом. Никогда прежде он не думал о смерти, не думал и сейчас, когда она была так близка и, кажется, неотразима. Он думал только о том, что танки все-таки удалось остановить и что наши, должно быть, уже выступили, и что самолеты будут здесь самое большее через десять минут.

— Эх, продержаться бы эти десять минут!

Страшный удар, от которого потемнело в глазах, раздался над его головой, стена, подле которой стоял на ларе Веретьев, расселась. Он видел, как Веретьев прыгнул вниз и как упавшая балка сбила его с ног и прижала к полу. Пегов прождал с минуту, — больше не стреляли, — и пробрался к нему. Он был убит наповал.

Теперь, кажется, все было кончено. Убиты Веретьев и Зайцев. Убит, должно быть, и Курочкин — иначе он бы вернулся, он мог проползти под плотиной.

Пегов был один в этом разрушенном маленьком доме. Но ничего не было кончено! С чувством радостной злобы, бешенства, восторга, от которого кружилась голова, он лежал с винтовкой в руках да с винтовкой в запасе и ждал.

Ничего не кончено, у него еще были патроны.

— А ну, подойдите-ка, подойдите-ка... — говорил он про себя.

И, точно согласившись на его просьбу, высокий немец, наверное, офицер, хладнокровно вышел из танка и направился к мельнице — к тому, что от нее осталось.

— Сдавайтесь, руссен! — крикнул он.

Пегов выстрелил в него, и офицер упал.

— Ну-ка, давайте, следующий. Ну-ка!

Он устроился удобнее, сделал для винтовки упор.

Второй удар — на этот раз вниз, в каменное основание мельницы, — обрушился на него и отбросил в сторону. Танки подошли с тылу и били по мельнице прямой наводкой.

Последние винтовочные выстрелы умолкли, наконец, а они все били и били, чтобы снести, сломить, уничтожить этот маленький домик и вместе с ним загадочное упорство русских...

Должно быть, он был ранен, хотя и не чувствовал боли. Еще минуту-другую он как бы старался остановить ускользающее сознание. Но оно исчезло, наконец, и на смену ему пришло забытье-полусон Грохот отделился, пропал, и он

лежал теперь в тишине, с открытыми глазами. Что видели они в эту минуту? Быть может, детство, свободное и счастливое, согретое мечтою о море, прошло перед ним? Или город, близкий сердцу, великолепный город, с прекрасной рекой и строгими, милыми площадями.

Ему было бы легче, если бы он знал, что Курочкин жив...

Раненый в руку, Курочкин отполз от плотины и спрятался в камышах. Танки прошли через мост, и тогда, стараясь не очень беспокоить раненую руку, Курочкин стал собирать у мельницы дранку. Костер долго не разгорался — бревна у в'езда отсырели от утренней росы, но Курочкин упрямо раздувал костер, и вот, наконец, огонь как бы осторожно прошелся по бревнам и запылал, запылал...

Через час к мельнице подошли наши части, получившие донесение. Немецкие танки, отступая, остановились перед горящим мостом и были уничтожены. Это был прощальный салют трем юношам в краснофлотской форме. Четвертый рассказал то, что вы прочитали.



ИЗ ДНЕВНИКА ТАНКИСТА

Темные, шаткие столбы дыма стояли над полем, ветер гнал их прямо на нас, и скоро дышать стало нечем.

Я посмотрел на Мейлицева—он сидел, сгорбившись, угрюмо поджав губы. И я не решался сказать ему, что я думаю насчет нашей затеи.

В сущности, она была не так уж сложна, если бы можно было дождаться ночи. Ночью, да еще под прикрытием «дымовой завесы», мы легко добрались бы до леса, а там... Но мы и не загадывали так далеко: лес есть лес, в лесу можно спрятаться, выйти из окружения, вернуться к своим.

Но дождаться ночи—это была задача! С каждой минутой огонь приближался к нам. Он был легкий и стлался по земле так низко, что если бы не колосья, которые вдруг вспыхивали по временам, его можно было и совсем потерять из виду.

Он приближался к нам, и, следовательно, нужно было либо трогаться в путь при ясном свете дня, либо сгореть, что было бы, конечно, просто глупо.

Утро было проведено очень недурно: от артиллерийских батарей, которые нам приказано было уничтожить, осталось одно воспоминание. На обратном пути мы подбили два танка и один загнали в трясину. Мы вышли из этого дела без единой царапины — разве что от пуль на броне. А теперь, прикрывшись ветками, мы сидели тихо, как мыши, и старались даже не кашлять, хотя это было почти невозможно.

Накануне немцы заняли село Н., и жители, уходя, подожгли поле. К сожалению, они подожгли его немного раньше, чем бы нам хотелось. Сами того не зная, они выкуривали нас теперь из безопасного места.

Так или иначе, нужно было трогаться в путь. Мейлицев приказал заводить мотор, и мы пошли, держась «под дымом», — это была единственная возможность укрыться от немецких позиций. Мы пошли, хотя с каждой минутой дым все больше душил нас и слезы застилали глаза.

По правую руку от нас скользил огонь, то подходя к машине так близко, что механик-водитель невольно поворачивал руль, то удаляясь в хлеба. Он вовсе не казался таким уж грозным, и вообще не было видно разных страшных картин, о которых рассказывал в своих книгах Фенимор Купер и другие, писавшие про степные пожары.

Страшным было только небо — такое низкое, что стоило, кажется, встать на ноги, чтобы достать до него головой. Оно было низкое и тяжелое, террасами

стлался дым, там—темно-красный, там—золотисто-синий, и маленькое солнце без лучей висело среди окрашенных заревом туч.

Поминутно протирая слезящиеся глаза, я заметил, как несколько черных шариков выкатилось из горящей пшеницы. Это были ежи, удиравшие от огня, а за ежами, смешно подпрыгивая, пробежал длинноухий тушканчик...

Короче говоря, мы на полном ходу вошли в лес и укрылись в орешнике. Теперь можно было спокойно дожидаться ночи.

Механик-водитель дежурил в отделении управления, а мы с Мейлицевым пошли на разводку. Уж больно тихий был этот лес в пяти-шести километрах от немецких позиций! Но лес был как лес. Правда, он был сильно потрепан артиллерийским огнем, и в некоторых местах торчали лишь остовы осин и елей. Но я прополз, должно быть, с полкилометра и ничего не заметил. Пора было возвращаться назад.

Ручеек выбегал на лесную тропинку. Я выпил воды, умылся и стал наполнять флягу. И вот, только что я подставил флягу, как едва не выронил ее из рук: где-то очень близко от меня послышался стон.

Не меньше двадцати минут я, как мертвый, лежал под кустом, держа в руке открытую флягу. За кустом начиналась лужайка, покрытая густой, высокой, очень зеленой травой,—такие места у нас в Курской называются «холодным покосом». Начинало темнеть, но по траве был виден след—точно поблескивало там, где она была примята. Что делать? Я

подождал еще немного и осторожно пополз к примятому месту.

Раненый танкист лежал, раскинув ноги, уткнувшись лицом в траву. Я узнал его еще прежде, чем перевернул на спину. Это был Векшин, комиссар нашей части.

Сперва мне показалось, что он тяжело ранен. потому что он был без сознания, и я напрасно старался, чтобы он проглотил хоть каплю воды, но потом он пришел в себя и даже стал помогать мне делать перевязку—у него была ранена левая рука, и он потерял много крови. Наверное, он еще был контужен, потому что у него были распухшие, налитые кровью глаза, и он сам сказал, что он видит все, как в тумане.

Спустя четверть часа мы с Мейлицевым доставили комиссара до танка. Мы доставили его со всей осторожностью и заботой, между прочим, еще и потому, что это был—могу сказать без преувеличения—самый любимый и уважаемый человек в нашей части.

Мы устроили его сперва на земле под навесом, а потом перенесли в танк, потому что только ждали удобной минуты, чтобы двинуться дальше.

Рука мешала ему, и время от времени он смотрел на нее, скрипя зубами от боли. Но вместе с болью сознание все больше возвращалось к нему. Теперь это уже не был тот полутруп,, который я нашел на «холодном покосе». Он спросил, что мы сделали, потом привстал и сказал, что хочет выйти из танка.

Выходя, он спросил: как управление, и механик-водитель ответил ему:

— В порядке.

Мы снова устроили его под навесом, и некоторое время он лежал неподвижно.

— Мейлицев,—вдруг сказал он шопотом,—ну как я, а?

— По-моему, нормально товарищ комиссар,—хмуро ответил Мейлицев.

Они помолчали.

— Который час?

— Без двадцати десять.

— Послушай... Вы не ходили дальше того места, где меня подобрали?

— Нет, товарищ комиссар.

— Я был без сознания?

Мейлицев подозвал меня, и я об'яснил, что без сознания.

— Ну, ладно,—сказал комиссар, помолчав.—Значит, это был сон.

Он не стал об'яснять, что был за сон, но через несколько минут опять подозвал меня и стал расспрашивать про местность.

— Товарищ комиссар,—вы скажите, что вам причудилось? Может быть, и я что-нибудь заметил.

— Мне, брат, причудился домик,—серьезно ответил комиссар.

— Домик?

— Да. А вот, во сне или наяву,—никак не могу припомнить.

Мы собрались вокруг него, и он рассказал, что после ранения и контузии он некоторое время полз в лесу и вдруг наткнулся на домик. Немецкая речь послышалась ему, и он долго лежал в кустах, то приходя в себя и прислушиваясь, то теряя сознание от мучительной боли. Потом он увидел себя в другом месте,—в зеленой лощине, среди высокой травы. Очень хотелось пить, и он стал копать землю, потому что лощина была сырая, и он надеялся, что ямка скоро наполнится водой. Это было последнее, что он еще помнил.

— Там я вас и нашел, товарищ комиссар,—сказал я.

Мы помолчали. Мейлицев сел на пенек и снял шлем—точно без шлема было легче догадаться, что это за домик.

— Проверить?—спросил он.

— Надо проверить,—быстро ответил комиссар.

Мейлицев обернулся ко мне.

— Слушаю, товарищ старший лейтенант,—сказал я.

...Осторожно перебравшись через знакомую лощинку, я решил двигаться прямо,—ведь этот домик, если он не приснился комиссару, должен быть от лощинки в двух шагах.

Давно уже стемнело, и небо было лунное, ясное—даже слишком ясное. Приподнимаясь, чтобы подтянуться, я с тревогой замечал свою тень на кустах. Домика не было. Лес был тихий, пустынный, даже птицы умолкли, только где-то далеко еще куковала кукушка. Конечно, комиссару приснился сон—педа-

ром же у него были такие туманные глаза, когда я наткнулся на него в лощине. Я перевернулся на спину, чтобы немного отдохнуть, и в эту минуту совершенно отчетливо услышал немецкую речь.

Надо полагать, что домик был недурно замаскирован, потому что как я ни таращил глаза, я ничего не видел, кроме темной купы деревьев. Но это был домик, потому что я слышал, как ступенька скрипнула под ногою. Сонный голос еще раз сказал что-то по-немецки, и вдруг в темной листве, чуть заметный, мелькнул огонек.

Не запомню, когда я еще полз так старательно— ни один куст не шевельнулся, ни одна веточка не треснула подо мною. Месяц стоял уже высоко, когда я вернулся и доложил командирам, что домик—это не сон.

Не знаю, о чем они шептались, пока мы с механиком-водителем лежали на своих постах. Решение могло быть только одно—я в этом нисколько не сомневался.

Но как завести мотор, когда малейший шорох далеко слышен в ночной тишине? Как завести мотор и не привлечь внимание немцев?

Если бы не комиссар, не знаю, как решили бы эту задачу. А он решил ее очень просто.

— Дождаться бомбардировщиков,—сказал он,—и воспользовавшись их гулом, быстро завести мотор.

Он сказал это Мейлицеву, и Мейлицев бесшумно хлопнул себя по лбу и сказал шопотом:

— Шляпа!

Первый раз в жизни мы ждали немецких бомбардировщиков с нетерпением. Наконец, в шестом часу (уже светало) они показались над лесом. Мейлицев приказал завести танк.

Люк сразу же был закрыт и, стараясь, хотя бы недолго, итти в зоне этого гула, мы двинулись по кустарникам по направлению к зеленой лощине, где я нашел комиссара.

С ходу мы врезались в этот загадочный домик, который уже больше никому не казался сном. Надо полагать, что фашисты не ожидали гостей, потому что вылетели из домика в одном белье, беспорядочно стреляя из револьверов. Танк отошел, и комиссар с гранатой в руке спрыгнул на землю. Мне показалось, даже, что он не очень торопится, идя к домику, осевшему на бок. Мейлицев хотел спрыгнуть вслед за ним, но он приказал ему остаться. Под огнем, который усиливался с каждым мгновением, он подошел к домику и открыл дверь ногою.

Не знаю, что произошло за этой дверью, но вдруг мы услышали отчаянный крик: «Не стреляйте, не стреляйте! Я хочу жить, не стреляйте!»—и глухой удар. Должно быть, комиссар бросил гранату. Огонь усилился. Немцы били теперь прямо по домику, точно догадываясь, что там происходит. Минута, вторая, третья...

Кажется, это были самые длинные минуты в моей жизни. Но вот дверь снова распахнулась, и комиссар появился на пороге. В здоровой руке он нес портфель и полевую офицерскую сумку. Бумаги и карты тор-

чали отовсюду и даже под повязкой, на которой висела рука, была засунута карта.

Конечно, и мы не зевали,—но трудно было представить себе лучшую цель, чем наш комиссар с этими бумагами, торчавшими из всех его карманов.

Он прошел! Мейлицев помог ему залезть в танк, и мы помчались вперед, прямо на пулеметы...

А к вечеру мы прорвались к своим. Нельзя было не прорваться! Мы везли всю переписку, все документы и карты штаба крупной немецкой части. Мы везли нашего комиссара.





Это были трое простых советских людей, о которых можно было только сказать, что они дружны между собой и знают свое дело. Впрочем, дружны были только Куликов и Чеберда, а третий—штурман Жилин—лишь недавно, накануне войны, появился в эскадрилье. Он был еще совсем молодой человек, лет двадцати двух. Над ним посмеивались—даже не над ним, а над какой-то его столетней тетей, которая никак не могла опомниться, что он пошел в авиацию, и все просила его в письмах «лететь пониже». «Раз уж не судьба тебе, как все люди, ходить по земле,—писала она,—то прошу тебя, Петенька, летай пониже».

Впрочем, в эскадрилье все немного посмеивались друг над другом и больше всего над Чебердой и Куликовым. Чеберда был длинный, носатый и очень любил петь, особенно в полете. Куликов—маленький, смешливый. Между ними не было ни малейшего ни внутреннего, ни внешнего сходства. Может быть, именно поэтому на них постоянно рисовали карика-

туры, называли «Патом и Паташоном», сочиняли стишки. Это никому не мешало уважать их так. как в любой организации уважают положительных, бывалых, «прочных» людей.

И вот в один прекрасный день—будем пока называть его именно так—эти трое людей на хорошем советском бомбардировщике отправились туда, куда им было приказано. То, что им было приказано, они сделали «на отлично»: от так называемого «вражеского об'екта» остались одни обуглившиеся обломки. Набрав высоту, самолет возвращался на базу. Дела шли так хорошо, что Куликов даже запел свою любимую: «Ты постой, постой красавица, постой», когда слева появились немецкие самолеты. Их было не так много—всего два истребителя, приближавшихся с такой уверенностью, как будто фашистские летчики были заранее уверены в победе. Только два мессершмитта. Но, как известно, бомбардировщик по самой своей природе не предназначен для борьбы в воздухе, у него другая, более солидная специальность. Два истребителя против одного бомбардировщика—неравные силы! Но Чеберда решил принять бой.

Трудно сказать, в какую из первых трех секунд было принято это решение,—вероятно, в первую, потому что во вторую или третью он уже убедился в том, что мессершмитты стараются зайти ему в хвост. Это было, конечно, умно, но не очень, потому что Чеберда был не такой человек, чтобы позволить «заходить себе в хвост». Они зашли раз—и не

вышло! Зашли еще раз—и снова не вышло. Еще секунда—и Куликов, умело поймав цель, нажал гашетку пулемета. Надо полагать, что один из мессершмиттов получил то, что ему полагалось, потому что он вдруг вспыхнул и рухнул вниз. У самой поверхности моря он сделал еще один отчаянный непроизвольный прыжок—и исчез под водой.

Так и осталось неизвестным, успели ли наши летчики пожелать ему счастливого пути. Вероятно, пожелали—и от всего сердца! Потом они занялись вторым мессершмиттом, который оказался куда увертливее и злее, чем первый.

Не выдержав огня, он сперва отошел, потом опять бросился в атаку. Хотел ли он отомстить или предчувствие близкого конца придало ему смелости, но на этот раз он атаковал наш самолет более удачно. Правая плоскость была повреждена, еще через несколько минут вышло из строя радио, заклинило левый мотор. Мессершмитту удалось зайти в хвост и наш самолет стал терять высоту. Что делать?

Выход был только один: открыть огонь через стабилизатор своего самолета, то-есть, попросту говоря, пробить свой собственный хвост. Это был, разумеется, рискованный выход, потому что самолеты, как известно, не любят летать без хвоста. Но Куликов сделал это, и второй мессершмитт свалился на крыло, загорелся и стал не торопясь падать в море. Он падал именно не торопясь, должно быть не хотелось, так что, несмотря на дым, штурман Петя Жилин успел ясно различить его желтую голову и кресты на фюзе-

ляже. Скатертью дорога! Теперь пора было подумать и о возвращении домой...

История, которая должна стать известной всем,— и нашим друзьям, и нашим врагам, — начинается именно с этой минуты.

Самолет, как решето, был продырявлен пулями во всех направлениях. От хвоста осталось одно воспоминание. Четверть правой плоскости отвалилась. Внизу было море, а до родных берегов миль сто, а, может, и больше. Самолет не слушался управления и с каждым мгновением терял высоту.

— Двести пятьдесят метров,—доложил Жилин.

Чеберда кивнул головой и повел самолет дальше.

— Двести метров.

Самолет шел вперед.

— Сто семьдесят метров. Семьдесят метров. Двадцать...

Очевидно, это был конец. Чеберда выключил мотор, и машина тяжело села в воду.

Нельзя сказать, чтобы она особенно долго держалась на воде.

Иначе говоря, она утонула ровно через полторы минуты. Но за эти полторы минуты летчики успели выброситься, захватив с собой резиновую шлюпку.

Одни в море, далеко от берега, после долгого утомительного смертельного боя, когда каждая секунда решала вопрос: умереть или жить, лишившись всего, что давало малейшую надежду на спасение, они не растерялись и не пали духом.

Чеберда приказал развернуть шлюпку. Это было бы сделано с той быстротой, какая только возможна для трех людей, плавающих в тяжелых меховых комбинезонах вокруг большого куска резины.

Но штурман доложил, что утонул надувной шланг и унесло весла.

— Надувать ртом!

В меховых комбинезонах больше нельзя было держаться на воде—они сбросили их. Сбросили обувь. Поддерживая друг друга, они по очереди надували шлюпку, стараясь набрать как можно больше воздуха в легкие и время от времени ложась на спину, чтобы привести в порядок сердце, готовое выскочить из груди от напряжения.

Несмотря на все усилия, они все же погибли бы, если бы им не удалось развернуть шлюпку до темноты. Но когда начало темнеть—очень быстро, как всегда на юге,—шлюпка была надута. Они влезли в нее и легли.

В каком направлении грести? Этот вопрос был решен очень быстро. Штурман определился по звездам. Но чем грести? Ответ был очень простой: руками.

Всю ночь они гребли, и это было мучительно трудно, потому что в надувной шлюпке—глубокие сиденья, и грести руками сидя было почти невозможно. Гребли, лежа на бортах, с трудом сохраняя равновесие. Гребли, обливаясь потом, хотя ночью стало прохладно. Гребли голодные и усталые, по локоть не чувствуя онемевших, воспаленных рук. Вероятно, они прошли за ночь три или четыре мили. Полная ясная

луна стояла над морем, и одно время они шли вдоль продольной золотой полосы, почему-то казалось, что по этой просторной лунной дороге они скорее доберутся до родных берегов.

Рассматривая раненую во время боя и раз'еденную морской солью руку, Жилин пробормотал:

Ну, товарищи, мы это Гитлеру припомним.

Куликов никак не мог приспособиться грести лежа— все скатывался в воду. Чеберда, любивший изречения, сказал ему с назидательным выражением:

— Вода мягка, пока вы сильно об нее не ударитесь.

Это была ночь, когда они еще шутили. Потом наступил день—тихий, жаркий, безветренный день, и они поняли, что впереди еще много таких же тихих дней при ясном небе и полном штиле на море В общем, еще можно было жить, если бы так не томила жажда. Но нужно было жить, несмотря на жажду, и голод, и усталость, которая походила на самую смерть. Нужно было жить, и не только жить, но действовать, то-есть итти вперед во что бы то ни стало.

После полудня потянул ветерок, и Жилин сейчас же предложил сделать парус. Это заняло ровно пять минут. Один из синих комбинезонов был разорван, Жилин и Чеберда встали по бортам и растянули его поперек шлюпки. Ветер наполнил парус, и шлюпка пошла быстрее.

Это были самые лучшие часы—от полудня до захода солнца. Есть уже почти не хотелось. Трудно

было только стоять, сохраняя равновесие и стараясь поймать как можно больше ветра в дырявый самодельный парус. Они менялись. Потом стали держать парус сидя. Потом снова стоя. Но они двигались, двигались! По расчетам Жилина, они прошли уже миль двадцать. Чеберда еще шутил. Когда Жилин, заснув, выпустил из рук парус, он сел на его место и сказал назидательно:

— Если вы переутомлены, лучше не летайте, пока не отдохнете...

Но перед заходом солнца ветер упал.

В той жизни, которую летчики вели уже в продолжение тридцати шести часов, это было несчастье, страшнее которого ничего нельзя было представить. Ветер упал, и шлюпка остановилась. Снова нужно было грести руками, из'еденными морской солью, распухшими, горящими как в огне руками.

Но есть сила воли, которая преодолевает любые страдания. Чеберда приказал двадцать минут грести и полчаса отдыхать. Это ничего не меняло но внесло порядок в их мучительные усилия.

Жилин вдруг закрыл глаза и сказал, что он умирает. Он очень изменился за эти два дня, у него стало совсем детское лицо, с провалившимися глазами, бледное под загаром. Он сказал, что умирает, и командир накричал на него и сказал, что без его приказания никто не умрет и что «для смерти пока нет никаких оснований».

Когда ночью снова подул слабый ветерок, он, стоя на коленях, один держал парус.

Шлюпка двинулась вперед, и он сказал:

— Скорость—один из лучших друзей прогресса.— Он еще шутил.

Так наступил третий день—печальный день, когда стало казаться, что кончились последние силы.

Ветер окреп, и они по очереди вставали на ноги, заменяя собою парус. Держать его они были уже не в силах. Да он был и не нужен теперь! Ветер окреп, и шлюпка ходко пошла вперед.

Сколько раз смотрели они в заветную сторону, где их ждали друзья. Да полно, ждут ли их? Должно быть, давно считают погибшими—ведь прошло трое суток, как они покинули базу.

Это было почти невозможно представить себе, что они возвращаются, что больше не нужно вставать, шатаясь, на колени и, закрыв глаза, думать только об одном: не упасть! Но умереть нельзя было — командир не велел.

Прошел третий день, и ветер, о котором так страстно мечтали летчики с той минуты, как синий комбинезон превратился в парус, стал свежеть и свежеть. Шлюпку заливало, она могла опрокинуться, нужно было вычерпывать воду.

Именно в эту минуту Чеберда увидел вдалеке тонкую полоску, похожую на аккуратный мазок кистью по голубому полю. Это могла быть земля.

А если нет? Он ничего не сказал. Но несколько погодя, когда Жилин, вычерпывая воду, упал и чуть не захлебнулся в шлюпке, он вытащил его и сказал прежним голосом, с прежним назидательным выражением:

— Перегруженный самолет подобен утопающему, который старается держать голову над водой.

Это была земля! Но до нее было еще далеко. Теперь они гребли десять минут и час отдыхали. Потом только пять минут. Куликов предложил добраться до берега вплавь, но это была бы верная смерть, а командир велел жить и бороться.

Всю ночь они шли в каких-нибудь восьмидесятиста метрах от берега, и прибрежные волны то подносили их к берегу, то откатывали обратно. Лишь под утро наш разведчик, возвращаясь на свою базу, заметил шлюпку. Одновременно ее заметили с берега и уже готовились выйти на помощь. Разведчик сел на воду, подрулил к шлюпке. Через несколько минут трое летчиков были на борту самолета.

А через несколько дней они снова вылетели туда куда им было приказано. И то, что было им приказано, снова было сделано на «отлично».

Почему они не погибли? Что спасло их? Что поддерживало в них неугасимую жизнь души? В чем источник этой стойкости, этого мужества? В несгибаемой силе народа—народа смелого и умного, упорного и находчивого народа, который победит.



Орлиный залет

В детстве это называлось «Орлиный залет».

На старом дубе, между двух могучих суковатых развилин он устроил шалаш и проводил там целые дни—длинные летние дни, которые начинались с тяжелого чмоканья стада, вброд переходившего через ручей, и кончались звучной, однообразной, далеко разносящейся мелодией пилы—по вечерам на мельнице работали драпку. Тогда это была игра—укрыться от всего мира на «Орлиный залет»—с книгой, в которой перуанцы сражались с конквистадорами, защищая от них свои города, носившие странные и прекрасные имена: Кахамарка и Квито.

Теперь все было так похоже на эту игру, и так непохоже! С вершины сосны, на которой был расположен наблюдательный пункт, видны были слегка приподнятые над землей полоски блиндажей; в редких купах деревьев справа стояли наскоро замаскированные орудия немцев, слева открывалась река, еще уносившая время от времени обломки разбитой переправы. Да, это была уже не игра!

Сосна росла над расщелиной и к наблюдательному пункту нельзя было подойти иначе, как по этой расщелине. Мартынов приказал минировать ее и Панин сделал это с деревенской неторопливостью, казавшейся очень странной в таком молодом, румяном и веселом парне. Кроме Панина на посту был еще незнакомый красноармеец Капустин и Румер. Румер был ассистент Ленинградского университета, высокий, черный, в очках. Его сперва немного побаивались—«ученый». Панин—насмешник и весельчак—однажды сказал о нем с уважением: «культура мозга». Потом к Румеру привыкли, тем более, что его «культура мозга» не мешала ему подражать Утесову и рассказывать анекдоты. Капустин был самый старший из них—бородатый, молчаливый, семейный человек, по профессии столяр, а по призванию страстный охотник.

Такими эти люди казались лейтенанту Мартынову. О себе он мог бы, разумеется, сказать гораздо больше. Но он не любил говорить о себе, тем более, что в той жизни, которая началась семь дней назад, не было места для воспоминаний. «Орлиный залет» и конквистадоры—это было все, что он разрешил себе вспомнить, Впрочем, однажды, не дотянувшись до котелка с кашей, высоко подвешенного длинным Капустиным, он вспомнил, что его всю жизнь тяготил маленький рост. Но теперь это было преимуществом. Он сидел на сосне, как зеленая птица—невидный и неслышный. Зато его негромкий голос вскоре отдавался по всему лесу громом наших орудий. Никто в полку, лучше

Мартынова не умел корректировать стрельбу. Недаром ему был поручен этот участок—самый важный на обширной линии фронта.

Первые три дня все было прекрасно. Наблюдательный пост был расположен очень близко к немецким позициям и Мартынов видел все: и подозрительно красивую купу деревьев, за которой, вдруг, оказывался грузовик с боеприпасами, и слишком высокий кустарник, прикрывавший либо кухню, либо цистерну с бензином. Тихим голосом он отдавал приказания—и наши орудия послушно били по грузовикам, цистернам, по немецким «К. П.», по частям, готовившимся к атаке.

Но на четвертый день—только что рассвело—две мины ударили в расположение пункта. Это могло быть случайностью. Но через некоторое время случайность повторилась.

Первым был ранен Точилов—осколками в грудь и ногу. Румер с Капустиным перевязали его и устроили в нише, под каменным навесом скалы. Он лежал молча и не жаловался. Но к вечеру он отдал лейтенанту документы и попросил Румера прочитать вслух письмо, которое он написал сестре, отправляясь на наблюдательный пункт. «Дорогая сестрица, возможно, что больше с тобой не увидимся. Не скучай обо мне. Ты для меня много сделала в жизни, заменила мать и я хочу, чтобы ты знала, что я тебе обязан за свою жизнь. Не скучай, если я буду убит, передай мой билет товарищам и скажи, что им не придется за меня стыдиться».

— Теперь напиши еще что-нибудь,—слабым голосом сказал Точилов.

— Что же еще?

— От себя.

Румер снял очки и внимательно посмотрел на него. Точилов лежал серьезный, с изменившимся побледневшим лицом.

— Она у меня, брат, строгая,—добавил он, помолчав,—старая уже. Она меня воспитала.

Румер помолчал.

— Лейтенант напишет,—сказал он.—Да мы все напишем. Вася, ты еще поправишься.

— Нет. А что вы напишете?

Он дважды выслушал то, что написали на обороте Мартынов и Румер.

— Не нужно, что герой,—сказал он,—какой я герой? Напиши: «и честно выполнил свой долг комсомольца».

Ночью он умер.

Теперь было уже совершенно ясно, что наблюдательный пункт заподозрен—иначе немцы не стреляли бы по скалистой, заросшей соснами, высоте, которых в окружности было сколько угодно. Он был почти открыт, но в жизни четырех людей, связанных с тысячами товарищей лишь тонкой телефонной проволокой, по которой в ответ на сухие отчеты Мартынова передавались теперь сердечные слова поддержки и дружбы, ничего не переменилось. Все так же посменно поднимались они на старую сосну и та же картина — при дневном, вечернем, ночном осве-

щении — открывалась перед ними. Так же опытный Капустин из сухого пайка делал какое-то подобие обеда, так же насмешник Панин подшучивал над ним, так же Румер рассказывал анекдоты.

Это было очень трудно — не говорить ни слова о Точилове, который был ночью зарыт под старой сосной, а все еще как-будто жил между ними. Но они не говорили о нем. Смерть была так близка, что о ней лучше было не говорить и не думать.

Без сомнения было бы легче, если бы они могли отвечать на обстрел, но тогда пункт был бы полностью обнаружен.

Они могли переменить место, но выигрыш был бы невелик, а наблюдение потеряло бы много.

Они могли вернуться к своим — командир полка дважды спрашивал лейтенанта — «есть ли необходимость?» Но, по мнению лейтенанта, необходимости не было.

Мины все чаще рвались среди скал, и время от времени крупный каменный дождь — осколки разбитой породы — залетал в прикрытие. Однажды камнем разрубило провод и Панин, не обращая внимания на беспорядочный, но сильный огонь, с полчаса ползал в кустарниках, ища повреждение.

Другой раз — это было хуже — камень разбил очки Румера, а он без очков, как он сам сказал, «на расстоянии километра не может отличить курицу от пулемета». Теперь Мартынова на старой сосне сменял только Капустин.

К концу четвертого дня немцы открыли по ним артиллерийский огонь.

До этой минуты день еще проходил по каким-то естественным законам, установившимся на этом маленьком отрезке советской земли. Они ели всегда в определенное время, спали по очереди. День чем-то отличался от ночи. Теперь все смешалось.

Самый воздух, которым они дышали, свежий прохладный воздух старого соснового леса стал другим— свистящим, рвущимся, опасным. Он мог вдруг рвануться, опрокинуть, ударить головой о скалу. Даже когда обстрел прекращался, в ушах еще долго стояла отвратительная гамма пролетающего над головой снаряда. Теперь Мартынов уже не говорил вполголоса. Он кричал — и все громче, потому что первым начал глохнуть телефонист Панин. Но ничего не переменилось. Попрежнему на развилистой еще пышной старой сосне сидел человек и ничто не ускользало от его острого, хотя и усталого, бессонного взгляда.

В ночь на пятые сутки был ранен Румер. Было очень глупо, что он никому не сказал об этом и в темноте кое-как сам перевязал плечо и ногу. Он об'явил, что это пустяки и попытался рассказать анекдот о том, как... Но он замолчал на полуслове, увидев, с какими строгими лицами стоят подле него Мартынов и Капустин.

— Товарищи, да что вы на самом деле? — весело сказал он. Честное слово, ничего особенного. Смотрите, даже гнется. И он с трудом согнул раненую руку.

Мартынов помолчал.

— Ты отведешь его в К. П., — сказал он Капустину, — я сейчас скажу командиру, чтобы он послал навстречу санитаров.

Румер с трудом поднялся.

— Виноват, товарищ лейтенант, — сказал он, — хотя только десять минут назад называл Мартынова просто Левой, — я прошу у вас разрешения остаться.

— Не разрешаю.

— Лева...

— Кто здесь командир? — вдруг с бешенством крикнул Мартынов.

Все замолчали.

— Есть, товарищ лейтенант, — с досадой пробормотал Румер.

Для того, чтобы вывести его, нужно было разминировать расщелину, — это был единственный путь. Немецкие позиции придвинулись с тех пор, как здесь были поставлены мины. В расщелину — несмотря на то, что она была извилиста и почти незаметна среди огромных, покрытых мхом и кустарником глыб — залетали осколки снарядов. Но Панин и Капустин сделали это.

— Ну, Лева, — близоруко щурясь, сказал Румер лейтенанту.

Они обнялись. Постояли немного и обнялись еще раз. И Мартынов с Паниным остались одни на наблюдательном пункте.

Ничего не переменилось. Старая сосна была разбита снарядом и Мартынов перебрался на другую

пониже. Теперь он видел немецкие линии не так хорошо, как прежде. Но, как и прежде, он упорно направлял огонь наших батарей и немцам приходилось далеко огибать район наблюдения, чтобы подвозить к позициям людей и боеприпасы. Все чаще случайные снаряды рвали проволоку полевого телефона и Панин подолгу пропадал среди кустарников, разыскивая повреждения.

К концу шестых суток он ушел и не вернулся.

Спустившись вниз, Мартынов долго ждал его, лежа в укрытии. Наконец, он пошел искать его—и нашел лежащим во рву, с грудью, пробитой пулей. Панин нашел разрыв и успел связать провод. Он и мертвый держал его в застывших руках.

Ничего не переменилось! Линия была исправлена. Еще можно было работать. Но когда Мартынов поднялся наверх, он с первого взгляда увидел, что немцы переменили позиции и идут в обход батарей, которые пользовались его наблюдением. Он передал об этом командиру полка. О том, что Панин убит, он не сказал ни слова.

И вот наступил седьмой день — день, когда пора было взять оружие убитых товарищей и приготовиться к обороне. Наблюдательный пункт становился крепостью — маленькой крепостью, но с надежной защитой. Правда, защитник был только один, но много может сделать один человек с твердой волей, с благородным сердцем!

Когда рассвело, он увидел, что немцы, продвинувшиеся вперед, оказались не на западе от него, как

было прежде, а на востоке, в непосредственной близости от наших позиций. Он был ранен в лицо осколком породы — хотя несерьезно, но болезненно. Он почти оглох от грома орудий. Он не ел уже двое суток. Но наблюдение продолжалось.

К полудню он заметил, что отсекает себя огнем собственных батарей. Но наблюдения продолжались.

Оно прекратилось лишь в шестом часу, когда снова — в который раз! — был оборван провод. С машинальной точностью, которая смутно поразила его собственное сознание, Мартынов отметил минуту, когда это произошло. Он надел на плечо автомат и стал рассовывать по карманам гранаты. В заднем кармане брюк граната не помещалась. Он сунул руку в этот карман и вытащил бумажник с документами и деньгами. В минутном раздумьи он подержал его в руке и, размахнувшись, бросил в скалы. Граната дороже!

Должно быть, немцы думали, что за скалистой горушкой с обломанными остовами сосен залегла добрая сотня наших бойцов, потому что, прежде чем подойти к ней, они снова осыпали ее градом мин и снарядов. Мартынов переждал, потом начал осторожно ползти между кустарников к тому месту, где на берегу речки еще виднелись остатки переправы. Берега заросли густым камышом и зеленовато-желтая линия его тянулась почти до нашего левого фланга.

Он вышел к берегу — и прямо навстречу ему поднялись из камыша и побежали, крича что-то, немецкие солдаты...

Накануне был отдан приказ о контратаке и наши, обманув немцев ложной переправой, перешли речку вброд и ударили на них с тыла. Высота, на которой был расположен наблюдательный пункт, осталась позади и К. П. занял расщелину, над которой склонилась старая сосна, подбитая снарядом.

Командир полка поднялся наверх. Отсюда семь дней и семь ночей звучал этот голос, к которому прислушивался весь полк, голос человека, которому тысячи знакомых и незнакомых друзей от всей души желали удачи и счастья. Этот человек пропал без вести — несомненно погиб. Лучший наблюдатель в полку. Какая потеря!

Маленькая фигура Мартынова в кожаной куртке и зеленых брезентовых сапогах вспомнилась командиру полка. Он невольно вздохнул и, по узкой, теряющейся в скалах тропинке, стал спускаться к землянке политотдела.

Он вошел — и маленький человек в кожаной куртке, с перевязанной головой поднялся к нему навстречу. Он встал, шатаясь. Его поддержали. Он сделал шаг и сказал отчетливым хриплым голосом.

— Товарищ майор, позвольте доложить: явился в часть лейтенант Мартынов.



Цена 95 коп.